
Вороны каркали всё утро,
гоняли вечных голубей
по крыше шиферной и утлой...
Я стал старше, стал грубей.
По мне, природы постоянство
уподобляется возне,
непреходящим кафкианством
ломая прошлое во сне,
где принимаешь всё как было
лишь по наивности и по
тому, что жизнь промчала мимо,
оставив нечто, а прогос:
за крышей — птиц, за ними — небо,
за небом — то, что ты один, —
непостижимое плацебо,
причину тысячи причин.

Почти евангельское

Пахнет палой листвою
пожелтевшая кипа...
Отшумит Рождество —
будет бегство в Египет,

где Спасителя имя
застынет в гортани,
и крещение примешь
в чужой иордани.

Окунёшься за Ним,
чтобы стать бестелесным.
Будет проруби нимб
уходить в поднебесье.

А вокруг никого,
кто тебя ещё помнит,
только слово Его —
литургия ли, сон ли...

Чтобы завтра опять
под спасительной сенью
без конца привыкать
к своему воскресению.

Рубену Севаку

В твоём Айастане, где всё наяву
пока неизбежно как мука,
где ветер Ширака ровняет траву
послушно стенанью дудука,

и деву целуя под проседью ив
над речитативом Раздана,
ты вишенных губ ощущаешь налив
и томность осеннего стана
страны, где в туннели ныряют мосты
и каменотёс-повитуха,
смыкая века, вынимает кресты
из розовой мякоти туфа,
чтоб память, по миру ловящую прах
рассеянья гимна и флага,
упрямо поил в материнских горах
железный сосок пулпулака.

Шереметьево

И снова тебе я, Москва суетливая, внемлю.
Меня опускают закрылки на грешную землю,
в полуденный август, где по мановенью сигнала
послушно застынет такси за окном терминала.
Пройдёт стюардесса — смазлива, стройна и червонна,
листая последние сплетни седьмого айфона,
и небо царапнут при взлёте шасси Эйрбаса,
вздывая прощальную ноту смычком контрабаса.
Знакомы пейзажи, и люди знакомы до боли —
шершавый асфальт затонировал русское поле,
платки и толстовки шагнули с холста и бумаги,
давно воплотившись в турецко-китайские шляпы.
Мой замкнутый круг, гравитации речи всеилье —
пожив вдалеке, возвращаться обратно в Россию,
Европе внимая с наивным вопросом во взгляде,
как пёс шелудивый в надежде, что кто-то погладит,
кляня и гоня одиночество снова и снова,
покуда не скроют навеки в матрёшке сосновой.

Терракотовая армия

Мы станем тишиной, где нет отца и сына,
солдатами времён какого-нибудь Циня,
без рас или племён, где каждый только пленник
несметного числа тупых совокуплений;
у липы опадут фамилии на ветках —
потуги запихнуть в герои горе-предков;
когда забьёт гортань конвульсиями коды,
мы дружно ляжем в шар костями из терракоты.

А звёзды будут вновь, печально невесомы,
созвездиями вить людские хромосомы,
чтоб контуры могил менялись не иначе
как с помощью простой червячной передачи;
и солнце будет стыть и пятиться по метру
в пучину никому неведомого ретро,
где время изойдёт беспамятства истоком,
когда исчезнет мир, который станет богом.

Излучина

Давно пора войти в одну и ту же воду,
тем паче что она уже сродни болоту,
бедром утюжить клёш и слушать Нино Рота
и группу Куин,
учиться, дабы честь не измеряли лычки,
затяжкой завершать обыденные стычки
и кушать куличи у чёрта на куличках
в краю маслин.

И к сорока понять, что у воды есть мета, —
излучиной она накладывает вето,
чтоб памяти поток не обернулся Летой,
покуда жив,

и все в твоём мире — участники массовки:
ваятель шаурмы, красавица в толстовке,
и даже влажный бомж на крытой остановке,
хотя и вшив.

А в белом далеке, где есть пирке и гланды,
дядь Гриша и бабо ещё играют в нарды.
Там дышит керогаз и слышен у веранды
Каштанки лай.

Там тополь по весне стремителен и клеек,
и крысы по ночам пугают канареек,
пока ослепший норд ощупывает берег.
И это рай.

Пустынного пляжа касается тень,
булыжники тают в вечерней воде,
в кафешке на взморье звучит *Yesterday...*
Давай-ка присядем.
По-взрослому выдохнем дым из ноздрей,
попросим у стойки: «Дружище, налей»,
сурово и скупно, как Хемингуэй,
как в семидесятом.

Царапнет струною года и лады,
и Ринго в финале ударит под дых,
оставив молчанье, одно на двоих,
глухое как прочерк,
когда мы уйдём, до ногтей докурив,
давить мокасинами ноты олив,
и чувствовать, как на прилив и отлив
жизнь будет короче.

Карабахская ящерка

У забора самшит,
табуретка из ящика.
По траве шебуршит
карабахская ящерка.

Акварели окрест
аплодирует речка, и
абрикосовый лес
поднимается к вечности.

Закурить и смотреть,
избывая порожнее...
Ивы кается плеть
над ромашковой прошвою.

Я не здесь родился,
но за горными спинами
деревушка отца
каменеет руинами.

Жечь тутовкой стопарь,
постигая, как в озими
прорастает грабар
катехизисом осени,

и минируя жизнь
знаменателем вящего,
по траве шебуршит
карабахская ящерка.

Страницы из дневника

бывшим бакинцам

Волна выводила строку дневника,
что время похоже на след плавника,
и солнца дуршлаг опрокидывал море
размешивать звёзды в небесном растворе,
чтоб круг горизонта вписал на заре,
как в той теореме у Пуанкаре,
все углые тени от жизни игры,
покуда нет в памяти чёрной дыры.

И там, где судьба обескрыленной птицей
сподобилась долей армянской родиться,
по карте, кромсающей абрисы суши,
смекал имярек, что отныне не нужен
ни этому краю, ни этому богу,
где даже погосты подобны острогу,
когда после миски постылой лапши
выводят тела отдохнуть от души.

А бухта уже изрыгала из пасти
цыганскую волю, еврейское счастье,
и в лунную ночь по холодному цинку
на цыпках ходили худые фламинго,
покуда маяк в ожиданьи потопа
светился испуганным оком циклопа
и в крепости старой исламская тризна
качала мугамом родительский призрак.

И в темени времени моря индиго
упрямо листало прибитую книгу,
где буро плыли по слоёной бумаге
следы раскалённые крови и браги,
внушая слова на горячем грабаре
о том, что на лодке есть люди и твари,
и то, что сегодня исчезла из вида
за розовой дымкой страна Атлантида.

Дежавю

Не спрашивай меня, как я живу —
я пребываю ныне в дежавю,
наивно отразившись в старом теле, —
там голова бодлива, как фугас,
тверда рука, хотя неверен глаз,
а волосы и зубы не редели.

Там широта натягивала дол
(заглядывая небу под подол)
на глобус закавыченной сетчатки,
там Библия ещё хранила ять,
и прутьями железная кровать
отталкивала охровые пятки.

Там янтарём надраенный комод
считал года царапинами от
рождения до Рождества Христова,
и каждый знал, что у него внутри,
пока ему не стукнет тридцать три,
чтобы начать бытийствованье снова.

Уже поняв, что будешь жить везде
распятым на родительском кресте —
от Северного полюса до Кушки,
и если вреден памяти позор,
то сможешь выбрать меньшее из зол —
под мухой забывать, что ты на мушке.

Дабы унять отчаянную прыть
проклятой мысли «быть или не быть?»
обыденною русской канителью...
Но каждый вечер, усмиряя свет,
ты будешь видеть тот же силуэт
и повторять отца своею тенью.

Вечер в усадьбе Влахернское-Кузьминки

А осенью природа
молитвенно проста.
Заканчивает коду
виолончель листа.

В голицынской усадьбе
намытый воздух прян —
не суетятся свадьбы,
не куролесит пьянь.

В чернеющей попоне
застыл усталый лев,
и льётся Альбинони
за спинами дерев.

Аллеи нынче стали
отдушиной пути,
и хочется печали,
последнего прости,

зайти, смирив походку,
в церквушку на холме,
убогому дать сотку,
чтоб выпил обо мне.

И там, где тянут руки
миряне к алтарю,
в заплаканной старухе
увидеть мать свою.

Армении

Твоей стези сурова нить
и так тонка иголка,
но рок приказывает жить.
Не приказал бы долго.

Из ереванского кафе
я вижу плеск фонтана,
платанов строгих галифе,
туф Матенадарана,
открытой раны пантеон,
хранящий пламя мщенья,
вечнозелёный стадион,
седлающий ущелье,
Раздан, стекающий с небес
под арки акведука
армянских родниковых месс
тягучего дудука,
колонны римского Гарни,
скорбей дорожных глину,
свечные вечные огни
в сени Эчмиадзина...

Слеза горит в апрельском дне
обыденного транса,
где время гасится на дне
китайского фаянса,
где солнца облачный закат
обёрнут плащаницей,
и сиротливо Арарат
белеет за границей.

Старик и вечер

Приморский вечер. Смуглый горизонт.
Мундштук янтарный обхватив зубами,
ты дымно дышишь. Мотылёк на раме
безумство сублимирует в резон.
Листочек сыра вянет в наготе
индиго окаймлённого фарфора —
прокуренный участник разговора,
подвинутого хрипло к немоте.
А тени волочат стоваттный плен,
корявая рука из жёлтой кожи
вбирает свет. Не столько, сколько может,
а сколько нужно для прочтения вен.
Ты выдыхаешь в куцые усы
седую струйку сырмятной *Примы*
домашним смогом голубого Крыма
и смотришь выкрутасы егозы —
как мотылек усердием резца
снимает пыль дневного трафарета
восьмой десяток от начала света,
что бесконечно ближе до конца.

Ленинградское

Я простился с тобой, Ленинград,
на Московском вокзале.
Стрелки-ножницы тело твое от меня отрезали,
и в прозрачной кишке, уложив по перрону составы,
ты меня провожал громогласно-невнятно-картаво.

Я оставил тебе все твои безделушки Европы,
все промозглые дни, все смолёные невские стропы,
Петропавловский залп пополуудни, посмертие лиры,
ледяные балтийские брызги в окне Монплезира.

Неразгаданность рыб, что плывут чешуею залива,
я поверил фонтанному льву, чья волнистая грива
так выросла в постамент налитого звериного торса,
как вошел в меня ты без сомнения, смысла и спроса.

Так прости, Ленинград, что к тебе прихожу ненадолго,
что накинул на белые ночи восточного шёлка,
что на Тихвинском тщетно стою у могилы пророка,
чтоб зерно прорастало во мне до последнего срока.

Стоял декабрь. Козерог
глазел на отнятые ясли.
Сопел новорождённый бог,
по-детски излучая счастье.

На языке чужом волхвы
о чём-то шумно говорили,
дразнили запахом халвы,
кладя дары у ног Марии.

Густой вытаптывая снег,
заботы плотничьи забросив,
сквозь частоту моргавших век
звезду высматривал Иосиф.

Лучиной хрустнула лоза,
и стало тихо очень-очень,
когда Иисус, открыв глаза,
промолвил долгим взглядом: *Отче...*

И презирая статус-кво,
навек времён меня поступь,
мир обнимало Рождество,
деля его на до и после.